

Л. ДУХОВСКАЯ

ПОСЛЕДНИЕ
316 ДНИ
СТАНИСЛАВСКОГОЗАПИСКИ
МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

16 июня 1938 г. на пять часов был назначен просмотр работ учеников студии Станиславского. В 11 часов утра я разбудила Константина Сергеевича. Он долго еще лежал в постели, стараясь набраться сил, хотя чувствовал себя неплохо, не смотря на общую большую слабость. Константин Сергеевич волновался... В четвертом часу он встал, оделся и в сопровождении доктора А. А. Шелатурова вышел в кабинет. Вскоре пришли и гости. Все вместе пошли в студию.

В кабинете был сервирован стол для чая, и в антракте Константин Сергеевич с гостями заходил сюда. Вид у него был веселый, бодрый, гости были довольны показом, хвалили молодых актеров, и это радовало Константина Сергеевича.

На другой день, 17 июня, Константин Сергеевич проснулся довольно бодрым и ни на что не жаловался. Он дал отбегать себя камфарным спиртом, выпил кофе, после чего я стала читать ему газеты. Около двух часов дня он внезапно почувствовал страшную слабость, стал задыхаться, пульс невозможно было сосчитать, и доктор Шелатуров нашел у него отеки. Я сейчас же впрыснула ему камфару. Вечером Константин Сергеевич очень долго не мог заснуть, и я читала ему вслух. На завтра после вливания, на которое Константин Сергеевич возлагал большие надежды, ему стало лучше, одышка почти прошла, и он повеселел. Все последующие дни он неподвижно лежал в постели, продолжая чувствовать слабость, пульс был с частыми переборами, но режим его дня

не менялся, и Константин Сергеевич продолжал проявлять живой интерес к политическим событиям в театральной жизни.

Мало-по-малу состояние здоровья Константина Сергеевича стало как будто улучшаться, восстанавливался ритм сердца, голос стал тверже, он брал телефонную трубку, подумывал о переезде в Барвиху.

Константин Сергеевич часто говорил, что его беспокоит мысль о том, как он проведет зиму, как справится с работой: «Три театра, студия, книга... Подумаешь только — делается страшно...» Он не сознавал своего тяжелого положения, и мысль о близкой смерти не приходила ему в голову.

— Я слаб, совсем не крепну, — повторял он, — одно спасение для меня теперь — воздух...

Но самое главное, что привязывало его к жизни, это его книга, которая должна была скоро выйти из печати. Константин Сергеевич надеялся написать еще два тома. Ежедневно после утреннего кофе я подавала ему в постель его заветный черновик с рукописями. Константин Сергеевич вынимал одну из тетрадей, перелистывал, просматривал ее и, подумав, начинал диктовать. После каждой записи он останавливался, иногда подолгу обдумывал новую мысль и снова диктовал. Я удивлялась тому, как гладко и точно излагал он свои мысли, диктуя почти без поправок. В минуту сильной слабости Константин Сергеевич прекращал работу и говорил: «Не могу больше, не могу схватить, что хочется». В часы бодрости он диктовал подолгу. Помню статью, обращенную к молодежи, с призывом благожелательно относиться к театру, как к храму искусства. «Актерская работа, — говорил он, — одна из самых трудных и утомительных. Она поглощает всего человека, если он относится к ней добросовестно и честно. В актерской работе люди растут; если же превратить искусство в ремесло, в карьеру, то в такой работе человек правдиво падает. Человек, собирающийся быть подлинным актером, должен готовиться к большой трудной жизни. Если он неспособен на это, то пусть бежит прочь от театра». Константин Сергеевич вкладывал в книгу всего себя, всю свою душу,

свой ум. Он дорожил свободными часами, минутами, когда его не беспокоил телефон, когда его оставляли в покое, чтобы полностью отдаваться своему детищу. Когда на него находили минуты вдохновения, он не слышал и не видел, что делалось кругом.

В дни слабости, когда я входила в спальню, открывала шторы и подходила к его кровати, Константин Сергеевич с трудом подымал глаза, но все-таки встречал меня ласковой, приветливой улыбкой, поправляя правой рукой белые, пушистые волосы, обрамляющие его высокий лоб.

На вопрос, как он спал, Константин Сергеевич отвечал: «Не могу понять, какое ужасное состояние: сплю и не сплю, ничего не повидаю. Голова работает самостоятельно, не могу остановиться. Совсем стал рамоли». Пульс становился ритмичнее, отеки не увеличивались, но впрыскивание камфары продолжалось. Передвигаться Константин Сергеевич мог только до кресла и умывальника, после чего долго не мог отдышаться. Но он переносил все очень терпеливо, полный уверенности в своем выздоровлении. Он следил, какие лекарства ему давали, безропотно переносил все уколы: «Всего испытывали, нет живого места», — жаловался он иногда. Вообще он помогал лечению, стараясь скорей, скорей поправиться. В нем была огромная жажда жизни, глубокое желание дожить до выхода в свет его книги и закончить два последних тома его труда. «Вот тогда я завершу свое дело», — говорил Константин Сергеевич.

Я поражалась упорству и настойчивости, с какими он, больной, слабый, жадно ловил каждую свою мысль и спешил скорей занести ее в тетрадь. Но часто мысль обрывалась, он беспомощно опускал руку, в которой держал тетрадь, и потружался в полузабытье.

14 июля состоялся консилиум. Положение Константина Сергеевича признали безнадежным — вопрос нескольких месяцев... Одышка, слабость, сонливость усиливались, вода заливала живот, легкие, печень. Он спал днем. Иногда чувствовал себя бодрее. Одна его спальня выходила на улицу, ярко светило в них солнце, слышался шум беспрестанно мчавшихся

автомобилей, но Константин Сергеевич не страдал от жары, легко переносил ее, не слышал городского шума.

— Будете диктовать? — спрашивала я его.

— Нет, подождите, я еще не готов, — отвечал он и начинал сосредоточенно думать. Рука медленно опускалась, и он застывал, обыкновенно полукотырив рот, глубоко уйдя в высоко взбитые подушки. И все же он думал о Барвихе. «Посмотрите, дорогая, — говорил он мне, — цел ли список вещей, который мы составляли при отъезде в Барвиху в прошлом году?» Я смотрю: «Цел, Константин Сергеевич». Я брала ветку, чтобы отогнать мух. Константин Сергеевич останавливал меня, говоря: «Не надо, это рабское занятие» или бывало восклицал: «Какой я сегодня слабый! Почитайте мне». Я читала ему записки Глама-Мещерской, которые ему нравились; много знакомых лиц, про каждого рассказывал, вспоминал. Особенно охотно говорил о Бурлаке и о Дузе. «Она была очаровательная женщина». — «Чем?» — спрашиваю я. «Женственностью, — отвечал Константин Сергеевич, — все в ней было женственно, начиная с торчащего клокка волос и до кончика носа... Когда она смотрела в окно вагона, это была картина в рамке. Но характера она была дикого, в припадке злобы была способна драться, выть, но чаще бывала кротка, смирна и ангельски очаровательна».

Так жизнь текла однообразно, тихо, но тревожно. Окружающие жили в неопределенности — удастся ли его перевезти в Барвиху или нет. Но вот Константин Сергеевич стал опять немного крепче. При обтирании я наблюдала, что отечность спадает. С Марией Петровной долго обсуждали отъезд в Барвиху. Он был согласен на любой способ передвижения. Наконец мы решили перевезти его второго августа. Начались сборы. Из кабинета я передвинула в спальню его американский сундук, открыла его. Константин Сергеевич сидел в кресле. Я подвинула ближе к нему стул, ставила на него поочередно ящики из сундука и подавала ему каждую вещь. Он все пересматривал и говорил: «Это назад, а это с собой». Видно было, что ему интересно посмотреть на забытые вещи. Особенно долго отбирал он свои рукописи, по

несколько раз пересматривал каждую тетрадь. Это занялось на четыре дня. Наконец, все было просмотрено, остающиеся сундуки залепты, отобранные вещи уложены в небольшой чемодан. Для переезда к 6 часам вечера были приглашены четыре санитары с носилками, чтобы перевести Константина Сергеевича в автомобиль, в котором он должен был ехать лежа. За два дня до этого он тщательно побрился, пригласив к себе парикмахера. В день отъезда, когда я разбудила Константина Сергеевича и спросила его, как он себя чувствует, он ответил «неважно», но отъезд не отложил. В два часа он позавтракал и лег отдохнуть. Приближалось время отъезда. Приехал автомобиль, санитары, все вещи запакованы, все готово...

Константин Сергеевич проснулся, его стали одевать. Но только что начали надевать на него чистую рубашку, как вдруг ему сделалось дурно, и он, откинувшись назад головой, повалился на подушку. Градусник показал 39,2. Он крепко заснул. Пригласили еще одну сестру, санитару, и когда Константин Сергеевич пришел в себя и открыл глаза, он был удивлен: «Что это значит? Ничего не понимаю — доктора, сестры, санитар, для чего все это!» — «Вы были сильно больны, теперь вам лучше», — ответила я.

Слабость с каждым днем увеличивалась, температура то повышалась, то падала. Константин Сергеевич не мог больше подниматься. На вопрос, болит ли что-нибудь у него, он отвечал: «Нет, ничего не болит, ничего. Только не соображаю... точно во сне», и он спал, спал без конца. Мария Петровна с ложечки давала ему садол, кормила рисовым отваром, он все принимал, но лучше ему не становилось. Он был в сознании, ни на что не жаловался, лежал тихо, закрыв глаза, в одной позе — подперев левой рукой подбородок. Изредка Константин Сергеевич говорил что-нибудь. При высокой температуре он начинал перебирать что-то пальцами, и когда я спросила, что он делает, Константин Сергеевич ответил: «Читаю, перелистываю книгу».

Последнюю ночь он был в сознании, говорил дежурившей около него сестре Коробковой, чтобы она легла, отдохнула, пошла погулять, был ласков, спрашивал

сестру, возьмут ли ее на фронт в случае войны. В день смерти, 7 августа, с утра Константину Сергеевичу было легче, он немного говорил. Мария Петровна давала ему лекарство, рисовый отвар. Он ответил докторам, что у него ничего не болит, только чувствует себя словно в прострации. Он смотрел куда-то темными, глубокими глазами. Вдруг он спросил: «А кто теперь заботится о Немировиче-Данченко, ведь он теперь «белеет парус одинокий», может быть он болен? У него нет денег?» Мария Петровна ответила: «Он за границей, не беспокойся, Костя, он здоров, и деньги есть».

Немного погодя Константин Сергеевич стал звать: «Женя, Женя!» — «Кого вы зовете?» — спросила я. — «Калужского, хочу ему передать... он не договорил. Я ответила, что его нет, он на даче. «А не хотите ли, Константин Сергеевич, что-нибудь передать Зинаиде Сергеевне, — я буду писать ей». Посмотрев на меня, он строго ответил: «Не что-нибудь, а целую уйму, но сейчас не могу, все перепутаю». Вскоре температура поднялась до 39,7, пульс — до 90. Константин Сергеевич сильно ослаб, лежал все время с закрытыми глазами и ничего не говорил. Это было в два часа дня. Я осталась около него одна. Дежурный врач был рядом в кабинете. Я дала Константину Сергеевичу прополоскать рот. «Проглотите глоток воды», — сказала я, и он глотнул. «Отдыхайте теперь, дорогой». Откинувши голову на подушку, Константин Сергеевич лежал, точно сосредоточившись, с закрытыми глазами, тихо дыша. Температура видимо падала, пульс был 85. Мы были одни, стояла полная тишина. Я не спускала с него глаз.

Когда в половине четвертого я наклонилась к нему, чтобы поставить градусник, Константин Сергеевич вдруг вздрогнул, точно чего-то сильно испугавшись. «Что с вами, дорогой? — воскликнула я и в это время увидела, как по лицу его пробежала судорога, оно сделалось мертвенно бледным. Он склонил ниже голову. Не дышал. Все было кончено.